ЕВГЕНИЙ ПОСЕЛЯНИН

Леонтьев. Воспоминания

Грядущего ко Мне не изжену вон.

Евангелие

Tu ne Me chercherais pas, si tu ne M'avais pas trouvé.

Pascal[1]

Девять лет прошло с тех пор, как 12 ноября 1891 г. мирно почил в Сергиевском Посаде один из выдающихся оригинальных русских мыслителей и писателей Константин Николаевич Леонтьев.

Леонтьева самым решительным образом замалчивали при жизни. Он не имел и малейшей доли успеха, какой заслуживали его искренность, тонкий, сверкающий ум, его идеи, с которыми могли не соглашаться люди иных взглядов, но блестящую самобытность коих нельзя было не оценить. Кажется, после его смерти судьба будет к нему снисходительнее. Его едва ли забудут.

Желая сохранить некоторые черты его характера, я здесь предлагаю воспоминания, записанные со слов одного лица, знавшего покойного в последние годы его жизни.

I

Летом 1888 года я случайно был в Оптиной.

Мы приехали туда с семьей одной моей тетки из деревни за 200 верст, в большой коляске четверней, на своих. Мы ехали отчасти для развлечения таким необычно долгим на лошадях путешествием; отчасти чтоб повидать молодого родственника, бывшего в Оптиной послушником.

Пред отъездом нашим один господин, рассказывавший нам о Пустыни и ее достопримечательностях, назвал в числе их Леон-

тьева, писателя-националиста и восторженного поборника Православной Церкви, советуя познакомиться с ним. Он добавил, что Леонтьев известен в Пустыни под именем «консула».

Мы приехали в Оптину в ночь на большой праздник, и я за позднею обедней увидал в соборе на клиросе бокового придела старого видного господина с манерами человека хорошего общества, совсем необычного на вид. Очень выразительное лицо, с оттенком глубокой грусти и пытливости, живые глаза более пристально, чем быстро, смотревшие на все. Он был высок, и рост скрывал его полноту. Он стоял за обедней без особых внешних знаков усердия и от времени до времени с большою любознательностью разглядывал толпу. Я догадался, что это «консул».

Но в этот приезд я у него не был.

В ту же осень я поступил в Московский университет. Бывая у П. Е. Астафьева, писателя-философа и профессора, заведовавшего тогда университетскими классами Лицея Цесаревича Николая и гостеприимно собиравшего у себя молодежь, преимущественно лицейскую, я не раз слышал от него о Леонтьеве, о котором, при всем уважении к нему, Астафьев не мог говорить спокойно.

— Нет, вы не можете себе представить, — рассказывал он, — какой оригинал иногда Константин Николаевич. Представьте себе: когда в последний раз был в Москве, он мне вдруг заявил:

— Петр Евгеньевич, я буду вам рассказывать свои мнения, а вы мне не противоречьте.

Я, разумеется, говорю ему:

— Константин Николаевич, как же это я буду вас слушать молча и не буду вам, если найду нужным, противо-ре-чить (это слово Астафьев выговаривал старательно и раздельно)...

А знаете, до чего доходят его парадоксы? Моя жена его спрашивает:

— Что, вы «старцу» (Амвросию) во всем повинуетесь?

— Во всем.

— Что бы он вам ни сказал?

— Что бы ни сказал. Да вот, например, я вас очень люблю. А если б старец мне сказал: «Убейте ее», то есть вас, я бы ни на минуту не задумался.

Конечно, это он говорил так, для яркости. А все-таки странно.

II

Чрез год после первой поездки я отправился в Оптину уже один, чтобы ближе присмотреться к старцу Амвросию, произ-

ведшему на меня за те несколько минут, которые я его в первый раз видел, чрезвычайно глубокое впечатление.

Тут я отправился к Леонтьеву. Сперва я из гостиницы послал ему чье-то письмо — кажется, П. Е. Астафьева, — в котором было писано обо мне. К письму была приложена брошюра начинавшего писателя, о которой у него спрашивали мнения. На следующий день я отправился к нему и сам.

Брошюра дала счастливую тему для того первого разговора, который так сглаживает неловкость, происходящую, когда лицом к лицу, не в обществе, встречаются двое совершенно незнакомых лиц. Во время этого первого разговора я заметил любознательность Леонтьева, направленную на людей вообще. Он жадно изучал всякого, кого видел в первый раз, — его выражения, манеры, выговор, слова, взгляды. Потом меня приятно поразила простота его. Впоследствии мне приходилось видеть пишущих лиц, стоявших неизмеримо ниже Леонтьева по значению, уму, дарованиям. И как старались они становиться на ходули. А он был совершенно прост, непритязателен во всем.

У него и той мысли, кажется, не было, чтобы производить какой-нибудь эффект. Он как-то радостно выражал свои мнения. Казалось, что мыслям было тесно в его голове, и они искали выхода в словах.

После знакомства с ним как мелки казались люди, говорившие: «Никогда не выказывайте никому много привязанности. Это обесценивает человека. Скупо делитесь мыслями, чтобы не выдохнуться на глазах людей».

Он не скупился своими думами — конечно, потому, что он всегда был преисполнен ими, всегда «кипел мыслями». Ну, а насчет первого: его, пожалуй, потому и недостаточно ценили, что он слишком много и щедро давал, слишком был усерден к людям. А на людскую посредственность большее впечатление оказывает скаредность чувства и сдержанность, чем безудержное богатство заботы и прямодушия с людьми...

Он очень сочувственно и живо разобрал тогда присланную ему брошюру, указывая то, что, по его мнению, нехорошо и не «со вкусом». Когда я уходил, он пригласил меня на следующий день обедать.

В этот раз, около недели проведя в Оптиной, я почти ежедневно видел Леонтьева.

Пока он был жив, мало читая его, страстно дорожа лишь тем, что он писал собственно о литературе, я знал его почти исключительно как человека, а не как писателя. Так как он был разговорчив и откровенен, то мне пришлось узнать кое-что из его биографии.

III

Происходил он из старой дворянской семьи, хоть и не игравшей в Московской Руси видной роли, но часто упоминаемой в разрядных и писцовых книгах. С половины прошлого, XVIII, столетия одна ветвь этого рода стала возвышаться, другая, от которой произошел сам Леонтьев, хиреть.

Мать его была из семьи тоже известной, Карабановых, воспитывалась в Смольном и пользовалась вниманием императрицы Марии Федоровны. Чрез нее г-жа Леонтьева, не имея на это, по чину мужа, права, записала двух сыновей в пажи.

В кабинете Константина Николаевича висели старинные портреты —акварелью и тушью. Мать его по портрету была очень красивая, нервная, по-видимому, женщина — то, что выражается словами raffinée, distingée, intellectuelle[2]. Она устроила себе в глуши калужской деревни, в незатейливой Кудиновской усадьбе, уютный уголок, где читала, мечтала, вспоминала прошлую юность, столицу, которую ей удалось видеть сквозь дымку, не узнав на деле блеска и разнообразия ее жизни. А, кажется, ее натура в этом нуждалась.

По-видимому, в средствах был недостаток, и Константин Николаевич с благодарностью хранил у себя на стене портрет двоюродного или троюродного брата своего отца, генерала Леонтьева, бравого, воинственного вида, с высоко взбитою прической. Этот Леонтьев рыцарски-заботливо относился к матери Константина Николаевича и, кажется, помогал ей в ее затруднениях. Константин Николаевич благодарно помнил об этом по прошествии трех четвертей века — черта, типичная для человека.

Будучи в университете, Леонтьев немного ездил на балы. У него был акварельный портрет, сделанный с него в это время. Высокий, стройный, худой, с нежными светло-русыми волосами, с тем же raffinement, как у его матери. Но он никогда не утвердился в свете, имея на то полное право.

«Свет» — очень странное явление. В нем бывают люди, не имеющие на то никаких прав, не обладающие, кроме терпения и неуклонности, никакими качествами. И он иногда безответен для таких людей, которые, как Леонтьев, кроме того, что носят старое имя, незаменимы для общества.

Только раз мне удалось подслушать в Леонтьеве чувство боли по этому поводу. Он говорил об одной очень умной женщине, с большим положением, очень знавшей славянофилов, пригласившей его к себе, когда он был цензором в Москве.

— Я у нее был только раз. Мне не хотелось к ней больше возвращаться. Она меня приняла не так, как я бы хотел. Она,

например, не предложила мне курить. Конечно, я был только цензором. Но ведь я еще Леонтьев.

Я понял, что он хотел сказать, что если б она встретила его раньше в нескольких домах известного круга, то отнеслась бы к нему иначе.

Он рассказывал об этом случае без злобы, без осуждения и горечи, а с какою-то грустью. И, глядя на этого выдающегося человека, с несомненными признаками «породы», думая о том, что он рассказал, вспоминались вымучившиеся в душе Лермонтова слова об «обломках игрою счастия обиженных родов».

Начал он писать рано, и Тургенев, который в числе печальных слабостей своего характера имел обычай захваливать молодых людей, внушая им заведомо для него самого несбыточные надежды, наговорил ему о его беллетристических опытах что-то вроде «вы нас всех скоро за пояс заткнете».

Тургенев говорил это против своего убеждения и причинил тем Леонтьеву вред. Не беллетристика, а критика истории, общественной жизни и литературных явлений — вот, где он стал полным хозяином.

После нескольких лет, проведенных в качестве домашнего врача (он кончил курс на медицинском факультете) в деревне, в семье барона Розена, Леонтьев поступил на службу по дипломатической части, став консулом на Балканском полуострове. Здесь совершился с ним переворот, направивший его жизнь в новое русло.

IV

Леонтьев давно жаждал веры. Отдав дань всяким отрицательным учениям, до самых крайних включительно, он не мог на них успокоиться. Ошибочность их ему стала ясна. Невозможно ему было жить и с душою опустошенной. Ум его еще не мог склониться пред непостижимыми тайнами веры, и этот разлад гордого ума и стремящегося к вере сердца был для него мучителен.

Тут совершилось событие, о котором я слышал от него несколько раз. Он сам всегда был взволнован при этом рассказе, и теперь, вспоминая его чрез столько лет, испытываешь то же волнение.

«Я жил в Константинополе, в окрестностях его, на даче. Была холерная эпидемия. Мне приходило на мысль, что могу заболеть и я, а умирать мне не хотелось. Я знал за собою много грехов. Не буду всего рассказывать. Много их было и тяжелых.

Во мне было предчувствие другой жизни. И пока, еще не достигнув веры, не хотелось уходить, как я был, с пустою душой, и заканчивать жизнь, каким я был в то время...

Дача моя была отдалена от жилья; со мною было только несколько человек прислуги. Как-то ночью я проснулся с несомненными признаками холеры. Я, врач, не мог ошибиться. Припадки были сильны. Надежд на спасение почти не было. Разослав людей в разные стороны, я остался почти один. Я был лицом к лицу со смертью, не готовый, с несмытой грязью всей моей бурной жизни. Предо мною была вечность: теперь я ее уже чувствовал...

У меня в комнате стояла икона Божьей Матери, старая семейная икона, которою я дорожил при всем своем неверии. Я в отчаянии посмотрел на нее и, ударив изо сей силы кулаком, закричал:

— Рано! Ты видишь: рано мне умирать!

Могут сказать, что это было богохульство. Вернее, это был первый вопль зарождавшейся веры. Как бы то ни было, я к утру был здоров.

Прошло несколько времени. Жизнь, по-видимому, шла та же, но во мне была затаенная мысль.

Чрез несколько времени я отправился на Афон, в знаменитый Пантелеймонов монастырь, где были великие старцы Иероним и Макарий. Как консула, представителя русской власти, меня встретили торжественно. Я прибыл с целою свитой провожатых. А навстречу мне, при колокольном трезвоне, вышел весь монастырь; впереди, со крестом, архимандрит Иероним. Меня с торжеством ввели в собор... Я старался с достоинством принять это чествование, относя его к значению России в судьбе православия.

Затем на следующий день я послал к отцу Иерониму с просьбой, чтоб он принял меня наедине... Я подходил к его келье с бесконечною жаждою смирить себя и найти здесь веру. Переступив порог, я подошел к старцу и без слов с рыданием упал к его ногам.

Так разрешилась эта напряженная внутренняя драма!»

Это был первый решительный шаг Леонтьева.

Нужно сказать, что одна сторона верующего человека никогда не была в нем разрушена.

Леонтьев признавался, что в те даже годы, когда им владели самые разрушительные учения, он готов был положить на месте того, кто стал бы говорить против пасхальной заутрени в Кремле, — одно из многих противоречий русской души.

Вообще *красота христианства,* красота истории его, чрезвычайная красота христианских исторических лиц, так поражавших Пушкина в последние годы его жизни и доселе скрытых под спудом для нашего общества, грубо невежественного во всем, что касается религии, — красота христианского культа была одною из притягательных сил, привлекших Константина Николаевича к христианству.

Он отдал себя всецело руководству старца; несколько раз возвращался к отцу Иерониму и его ученику и преемнику, отцу Макарию, и с их помощью нашел веру.

Это был тяжкий, сложный путь. Но, уезжая в Россию, *он был верующим человеком.*

Понятно, как старчество стало дорого Леонтьеву. И он уже не мог обойтись без постоянного руководства старцем. В России он нашел отца Амвросия. Он ездил к нему из Москвы, а затем, оставив службу, поселился совсем в Оптиной.

При полном подчинении старцу понятной становится фраза, сказанная им г-же Астафьевой, — фраза, как все, что он говорил, яркая, выпуклая.

V

Мне кажется, что Леонтьев был всю свою жизнь довольно одинок.

Во время своей консульской жизни он женился на простой гречанке, бывшей, по его словам, замечательной красавицей. Она была в него страстно влюблена. Лет через десять после свадьбы она сошла с ума.

Я видел этого большого ребенка: она всегда жила при муже. Очень высокая, крепкая собой, она сохраняла следы прежней красоты в блестящих больших глазах, в чертах располневшего лица. Тихая, добродушная, она иногда с хитрою улыбкой ребенка, воображающего, что его никто не видит, совала мне в руки яблоко или что-нибудь сладкое, и я тогда останавливался послушать ее неправильную ласковую русскую речь. К своему мужу она и в болезненном состоянии была преисполнена чрезвычайного почтения и относилась к нему, как дети к старшим. Произнося «Константин Николаевич», она понижала голос и принимала серьезный вид.

Конечно, эта женщина, и будучи здоровой, не могла ничем скрасить умственного и нравственного одиночества такого человека, как Леонтьев.

Его политические мысли, и особенно привязанность к Греческой Церкви (против Болгарской), делил покойный Т. И. Филиппов[3], который приезжал даже к нему в Оптину: некоторый подвиг для очень старого человека, при 140 верстах грунтовых дорог. Филиппов оказывал ему поддержку в делах. Для такого «барина», с такими привычками, как Леонтьев, и, главное, с неудержимо добрым сердцем, материальные заботы были тяжелы. Тут Филиппов много сделал для него, устроив ему своим влиянием пенсию в 3000 рублей, когда он должен был оставить службу, в конец расстроив здоровье.

Кажется, самым счастливым временем жизни Леонтьева в смысле пользования приятным обществом, подходящим к нему, были дни и недели, проведенные в Константинополе. Он с удовольствием вспоминал о тогдашнем после графе Н. П. Игнатьеве и о разных других служивших по дипломатической части. Между прочим, он для всех посольских подыскал названия болезней по характеру и привычкам каждого лица. Так, одну прелестную молодую женщину, всю поглощенную своим двухлетним сыном, носившим уменьшительное имя Алеко, он определил «Alecotrofia pedantissima» (trofia — значит питание, воспитание). Он мне как-то читал целый список таких определений, всех очень остроумных.

Кстати, вот характерный для обеих сторон разговор, который произошел у него однажды с первой настоятельницей Шамординской общины, матерью Софией (из рода Болотовых), женщиной выдающейся по уму и характеру, блиставшей в миру красотою, а в монастыре подвижничеством и рано почившей в схиме.

Встретив его в Оптиной, мать София приглашала его посетить Шамордин, говоря, что стоит приехать хоть из-за необыкновенной живописности места.

— Зачем говорить о живописности, — отвечал Леонтьев... — Не знаю, «как понесет» * мою искреннюю речь ваше монашеское смирение... Но одного вашего присутствия где-нибудь достаточно для того, чтоб туда стремились люди... При вас я, может быть, не замечу красоты этого места... Осудите ли вы меня, матушка, за мое искреннее удивление излитым на вас Богом даром?..

Монахиня поникла головой и тихо произнесла:

— Все во славу Божию...

---

* Настоящий монашеский термин.

VI

Человек, с которым Леонтьев делился происходившей в нем религиозной эволюцией, духовной своей жизнью, был отец Климент (Зедергольм), сын пастора, блестяще служивший в Петербурге, в Сенате, принявший православие и ставший оптинским иноком.

Леонтьев написал после его безвременной смерти прекрасную книгу «Отец Климент Зедергольм», по которой столь же привязываешься к описываемом лицу, как и к автору. Именно эта книга возбудила во мне желание узнать Константина Николаевича, и его первую из целого ряда книг, полученных мною от старца, дал мне отец Амвросий, который ее очень одобрял.

Из писателей Леонтьев мог бы ценить Достоевского. Но он существенно расходился с ним, между прочим, в следующем. Он находил преувеличенной его исключительную пропаганду любви. Он написал возражение на знаменитую речь его при открытии памятника Пушкина.

Леонтьев особенно настаивал на необходимости страха Божия как первой, подготовительной ступени к исполнению заповедей, которые в приученном уже к ним человеке позже будут совершенствоваться из любви.

Человеку, сколько-нибудь жившему духовной жизнью, и особенно человеку с пылким темпераментом, испытавшему увлечения раньше, чем серьезно стать на путь христианина, понятна эта настойчивость Леонтьева на «страхе».

За это на него много нападали люди, хотящие прямо доскочить до совершенства (или, быть может, уже и считающие себя обладающими совершенством), без предварительной работы, а в сущности далекие любви. Меня особенно поразило в этом отношении одно лицо, говорившее о нем, почти у его гроба, в самых резких выражениях, прежде чем он был даже опущен в могилу: поступок сторонника «любви», на который почивший проповедник «страха Божия» не был бы никогда способен.

Раз при мне Леонтьев получил по этому же поводу письмо от Вл. С. Соловьева, с которым переписывался и которого очень любил.

Соловьев, сколько помнится, приводил в возражение слова Писания: «И бесы веруют и трепещут».

— Да, — мог бы возразить Леонтьев, — трепещут и противятся, а наш трепет побуждает нас к исполнению закона.

И в этом смысле Леонтьев говорит, что милостыня из «страха» ценнее милостыни из сердечного влечения. Первая приобре-

тена усилием. Вторая есть такое же непроизвольное дело, как вздох.

Леонтьев был самого высокого мнения, даже восторженного, об уме Вл. С. Соловьева. Этот ум так же чаровал Леонтьева, как разочаровывал его нестройный, бросающийся из стороны в сторону, отрицающий сегодня то, что он утверждал вчера, говорящий часто детски-несуразные вещи ум графа Л. Н. Толстого.

Леонтьев и не считал этого гениального художника очень умным человеком. Он тоже видал его, так как граф Толстой не раз бывал в Оптиной, по близости которой, в Шамордине, монашествует родная его сестра.

Было интересно двойственное отношение Леонтьева к этому человеку. Он благоговел пред ним как пред художником. В последние годы своей жизни в нескольких критических статьях, особенно же в великолепной статье «Анализ, стиль и веяние», он высказал Толстому похвалы — может быть, самые восторженные, самые глубокие из того, что было писано о Толстом. Но, преклоняясь пред художником, Леонтьев с сожалением и досадой глядел на потуги проповедника.

VII

Как странно бывает в жизни!

Именно те люди, которые наиболее щедро отдают себя другим и полны самых привлекательных черт, часто остаются почему-то наименее ценимыми.

Леонтьев ушел на склоне лет из мира к монастырю, но продолжал страстно интересоваться жизнью. Кроме газетных и журнальных известий ему хотелось видеть живых участников этой жизни. Как он звал, например, к себе хорошо и давно с ним знакомого и переписывавшегося с ним г. Губастова [4] (теперешнего русского резидента при Ватикане). И по своей чрезвычайной скромности думая, может быть, что он сам недостаточно интересен, чтобы к нему приехали ради него самого, он писал, что для человека, сколько-нибудь интересующегося христианством, надо узнать «монашество», без которого нельзя понять христианство. А настоящее монашество так хорошо сохранилось в Оптиной.

Сколько тоже было разговоров относительно приезда к нему критика Ю. Н. Говорухи-Отрока! Константин Николаевич вызывался даже выписать к себе рояль для его жены, занимавшейся музыкой. Но и этот проект не состоялся...

И в своем одиночестве Константин Николаевич должен был изливать сокровища своих дум пред людьми, которые не могли

вполне понять его. Мог ли, например, войти в его мысли, в его чувства, 19-летний студент живого характера, весь поглощенный внешним миром? И когда думаешь теперь, какая величина была пред тобой в то время, просто стыдно становится, как мало ею пользовался. Может быть, уже потому, что, находясь в Оптиной, все время ее был под обаянием отца Амвросия, для которого и приезжал, а Константин Николаевич как бы тускнел рядом с громадною нравственною фигурой старца, стоял на втором месте.

С силой своего анализа Константин Николаевич постоянно обсуждал предо мной вслух свои поступки. Это было очень интересно. Но долго следить за такой филигранной работой его ума утомляло мой мозг. Еще труднее мне было следить за ним. Когда он развертывал предо мною политические комбинации, я бывал всегда удивлен блеском его соображений. Но, не понимая политики, я более интересовался смелостью этих соображений и блеском слов, чем сущностью его мысли.

Помню, раз он долго говорил о роли России как главы православных народов и наиболее выгодной группировке держав, диктуя историю на несколько столетий вперед. Это было поразительно по блеску и проникновению.

Впоследствии мне приходилось видеть лиц старого и среднего поколения, известных своей способностью говорить. Но блестящее Леонтьева с его глубоким одушевлением, его неистощимо богатыми примерами, с силою и пронзительностью его мысли и ее выражения — я никого не видал.

VIII

Нельзя не вспомнить его греющее отношение к молодежи.

Вокруг него собрался маленький кружок студентов, и как он умел заботиться о них! Одному, который был оставлен при университете и, происходя из крестьян, не имел на что жить до получения кафедры, он лично выхлопотал у министра Делянова пособие. Один из более даровитых из этого кружка сделался священником на боевых местах: сперва в Западном крае, потом при тюрьме. Один стал дельным предводителем. Леонтьев письмами поддерживал в них бодрость, желание служить народу, тот культ России, который в нем самом был так силен; больше же всего поддерживал веру.

Бывало, когда, покидая Оптину, прощаешься с ним, он перекрестит и скажет:

— Ну, голубчик, придет зима — ездите по балам, пляшите. На то молодость. А Оптину не забывайте. Помните старца Амвросия... В наше время как бывало? Пляшет барышня всю масленицу до упаду. А в прощеное воскресенье, когда другие собираются на folle journée, она с утра в возок: к Троице, к вечерне спешит.

Православная Церковь стала, если не грешно так выразиться, страстью души Леонтьева. Сам вполне подчиняясь ее уставам, он и других уговаривал исполнять их: ходить к службам, соблюдать посты, что делал он строго, как это ни было трудно ему, избалованному, болезненному, нервному.

Всякое оживление церковного дела его так радовало. Он и Оптину, верно, потому так любил, что она представлялась ему, так сказать, искренним собирательным христианином.

Помню я, как волновали надеждами его душу новые духовные течения, означившиеся в русском обществе: например вступление в ряды белого духовенства молодых людей высших классов, прилив таких же лиц в ученое монашество. Он написал тогда из своего уединения горячую статью под заглавием «Добрые вести» [5].

Мне раз или два случилось видеть Константина Николаевича несколько минут спустя после того, как он приобщался (по болезненности его ему Святые Дары приносили на дом). И я не забуду того выражения, какое тогда было у него. Умилительно было видеть этого мудреца, с такой детской искренностью преклонявшего свой гордый ум пред таинствами веры.

IX

Расскажу еще о домашнем быте Константина Николаевича.

Он в Оптине занимал особый дом с садом, так сказать, маленькую усадьбу через дорогу от ограды монастыря.

В одно из первых моих посещений он принял меня в саду. Когда я завидел среди деревьев, уже ронявших свой убор, шедшую навстречу ко мне по дорожке, засыпанной палым листом, высокую, чуть согбенную, но крепкую фигуру, мне с поразительною ясностью вспомнился Лаврецкий. Я много думал потом об этом невольном моем чувстве и с радостью говорил себе, что как бы строго ни относился к себе Леонтьев, он не мог применить к себе последнего слова Лаврецкого: «Догорай, бесполезная жизнь!»

Дом был с мезонином. Внизу очень большая, во всю ширину дома, комната, выходившая с одной стороны дверью на балкон-

чик и сад; с другой — окнами в палисадник, за которым была дорога и спуск к реке Жиздре. Эта комната была разом и столовой, и гостиной, и приемной. Внизу жила жена его и была небольшая комната для приезжих.

Маленькая крутая лестница вела кверху, где я был только раз. Там, опять во всю ширину дома, была большая комната, скорее две, соединенные в одну, — кажется, с колоннами посередине, кабинет и спальная. В кабинете, близ окна с видом на Жиздру и привольные заливные по ней луга, стоял его письменный стол. На стене висели семейные портреты. Кровать его была вовсе без белья. Он говорил, что так привык. Я думаю, что это был некоторый род жертвы. Он едва ли не спал полуодетый для самоистязания.

Что-то тихое, успокаивающее окружало этот дом. Но то не была мертвая, изводящая тишина захолустья, где нет жизни. Не крикливое, но великое духовное дело совершалось постоянно подле него, в нескольких десятках саженях за оградой.

Не имев никогда детей, Леонтьев из своих слуг создал себе как бы семью. Была девочка, Саша, из простого звания, которую он растил с малых лет и сам выдал замуж за своего служителя. На его глазах росли их дети. Этой Саше он заблаговременно поручил после его смерти ходить, как при его жизни, за Елизаветой Павловной, его женой.

Всем жившим у него людям он был как отец, входя во все их нужды, отлично зная их характерны, подолгу говоря с ними как с равными. Он даже любил рассуждать со своими знакомыми о всех обстоятельствах своих людей.

Опять яркая противоположность человека, так много говорившего о сословности, а во всей своей жизни не отделявшего себя от низших, — с теми доморощенными, доныне процветающими демократами на словах, которых навсегда заклеймил Д. В. Давыдов:

А, глядишь, наш Мирабо
Старого Гаврилу
За измятое жабо
Хлещет в ус и в рыло[6].

Леонтьев всегда о ком-нибудь хлопотал. В последние месяцы своей жизни в Оптиной он заботился об одном уряднике, отставленном от места за запой. Он, кажется, целый год содержал его семью на свой счет, старался постепенно приучать его к трезвости и устроил его опять на место.

X

У Леонтьева были мягкие барственные манеры. При всей его впечатлительности, откровенности, иногда резкости выражений — мягкое, приятное обращение. Даже насмешка его более ласкала, чем задевала, собеседника.

Этот решительный в выводах своих и иногда приемах (он раз в Турции отстегал нагайкой по лицу французского консула, сказавшего задевшую его вещь) человек вообще любил мягкость.

— Что вы говорите все «Левин, Левин», — заметил он мне раз, когда мы рассуждали об этом литературном типе. — Надо говорить «Левин», мягко... Вот прежде никогда не говорили «Леонтьев» — точно жесткая вода! А «Левонтьев».

— У кого вы были?

— У Левонтьевых.

Так и народ, бывало, произносил:

— Чьи будете?

— Левонтьевские.

Так лучше произносить — помягче.

Привычки былого времени проглядывали в нем в мелочах.

Например, он не выносил, чтобы во время обеда обедающие что-нибудь придвигали или передавали сами. Например, во время обеда, возьмешь, бывало, когда в комнате не было человека, графин, а он говорит:

— Сделайте милость, оставьте этот графин.

Потом звал человека и приказывал:

— Налей им!

До странностей ненавидел этот человек, так близко усвоивший себе европейскую культуру, разные проявления прогресса, например железные дороги.

— Что это, говорил он, за хамское положение... Еду я вот в экипаже, четверней, по шоссе. Когда хочу, тогда и выезжаю. Нравится мне местность — выхожу, располагаюсь, пока мне там хорошо. А тут я подчинен свистку какого-нибудь дуралея-кондуктора и могу остаться на станции без поезда, если не побегу как угорелый садиться, когда я что-нибудь допиваю или доедаю... В экипаже я еду один, со своими людьми. А тут сядет передо мной какая-нибудь рожа, один вид которой воротит все мои внутренности. И я должен выносить эту пытку иногда целые сутки... Хамство!

Вообще, изглажение красоты и разнообразия жизни, сопровождающее общую нивелировку, вносимую прогрессом, очень огорчало его.

Он терпеть не мог европейской одежи и носил высокие сапоги (из мягкого сукна по слабости ног), армяк с косым воротом и рубаху. Летом на нем было что-то из легкой материи, вроде подрясника.

Чрез его приятеля, поэта Фета, с которым он тоже переписывался и который был хорошо знаком с одним служившим при Дворе, Новосильцовым, заведовавшим, кажется, составлением извлечений из газет для государя Александра III, некоторые мысли Леонтьева становились изредка известными государю. В последний год жизни Леонтьев был занят тем, как бы привлечь внимание государя к тому, чтоб облечь весь Русской Двор в русское платье.

XI

В последний раз в Оптиной видел я Леонтьева в последние месяцы жизни отца Амвросия — в 1891 году.

Получив от Константина Николаевича к лету известие о том, что отец Амвросий сильно слабеет, я в августе поехал в Оптину. Отец Амвросий находился в основанной им в 17 верстах от Оптиной женской Шамординской общине.

Туда мы раз и ездили с Леонтьевым. Леонтьев говорил со старцем прежде меня и долго оставался с ним. Решался вопрос о переезде его на жительство в Сергиев Посад. Войдя затем к старцу, которого не видал два года, я застал его в величайшем изнеможении. Голова его бессильно падала на подушки. Подведя ухо почти к его рту, я еле мог понять его шепот.

На обратном пути Леонтьев рассказал мне, что старец настаивает на его немедленном переезде. Многим помогая, Леонтьев обыкновенно был стеснен в деньгах. Старец предложил снабдить его довольно крупной суммой, какая требовалась на переезд всем домом, да еще в два места.

Конечно, прозорливость старца внушила ему это решение.

Леонтьев уезжал из Оптиной еще при жизни этого много значившего для него человека, присутствие которого делало Оптину столь дорогою для всех знавших старца. Он уносил с собою ничем не ослабленное воспоминание о виденном им расцвете духовной жизни этого заветного русского уголка. Совсем иначе, с иными, раздирающими душу, чувствами совершился бы этот переезд после смерти старца, пережить которую *здесь* было бы ему не под силу.

Конечно, они прощались тут навсегда. Но Леонтьев уходил от жизни в жизнь. А тогда бы ему пришлось уйти из места опус-

тевшего, и в душе его Оптина осталась бы не столь цельною. В его же годы ощущать такую пустоту там, где еще недавно светила такая замечательная жизнь, куда труднее, чем переживать те же чувства людям молодым.

Последние дни, что я видел Леонтьева в Оптиной, он был поглощен распоряжениями к отъезду.

Вполне сознательно и спокойно он говорил о своем конце, рассказывая мне, кому и как распределил свои вещи. Жену свою со своею воспитанницей Сашей он отправил к племяннице, жившей в Орловском монастыре. С собою он брал служителя из окрестностей Оптиной. Будучи калужским помещиком, он дорожил калужскими людьми.

В эти дни, когда он оглядывался на всю прошлую жизнь, я узнал, как он относился к малой, незаслуженно малой своей известности.

Как человек бесконечно искренний, не игравший никогда комедии, он не скрывал ни своей радости, когда о нем говорили (например, в одной политической французской книге, где ему было отведено видное место в числе мыслителей эпохи Александра III), ни своего огорчения, что вообще его так мало читают.

— Я думаю, — говорил он, поникнув головой, — что когда-нибудь на мои мысли обратят внимание. А то, что всю жизнь я прошел так мало замеченным, на то была Божья воля... При успехе я бы мог возгордиться, Бог смирял меня. Значит, так было лучше.

Но Леонтьев, часто говоря о смерти, угадывая даже болезнь, от которой он умрет, в сущности думал еще жить и работать.

Не без надежд переселялся он в Московские пределы. Там центр жизни был так близок — в двух часах езды. Он надеялся быть полезным молодежи. Те, кто не мог ехать к нему за 300 верст сложного и недешевого пути, конечно, приехали бы легко из Москвы к Троице. И мы все знавшие его, еще учившиеся и окончившие студенты, надеялись, что личные сношения с ним обратят на настоящий жизненный путь некоторых наших товарищей, в которых были богатые задатки и которые, отделившись умственно от своего народа, были оттого несчастны и не удовлетворены.

XII

В сентябре 1891 г. Леонтьев проехал через Москву к Троице.

Сильно занятый, я раз или два видел его, и не наедине, на очень короткое время, в гостинице, где он останавливался. Между

прочим, когда я спросил его, отчего он не курит, Леонтьев сказал: «При моем теперешнем положении этого нельзя!» Он был спокоен, радостен, оживлен.

Только позже я узнал, что перед отъездом из Оптиной он принял тайный постриг, с именем Климента. Это имя выбрал он в память отца Климента, бывшего к нему столь близким в ту эпоху, когда в Леонтьеве окончательно слагался христианин.

Он звал погостить к себе к Троице.

Между тем 10 октября почил о. Амвросий — смерть неожиданная, потрясшая всех его духовных детей, как ни была она естественна для 79-летнего человека, столь изнеможенного, что уже давно, казалось, он существовал только чудом.

Вернувшись из Оптиной от могилы, разобравшись после этого события немного с мыслями, хотелось увидеть Леонтьева, побольше поговорить с ним об этом человеке, как пришла весть и о его кончине. Он умер 12 ноября, проболев несколько дней воспалением легкого, напутствованный таинствами Церкви.

К похоронам его съехались некоторые знавшие и чтившие его люди. Была и племянница из Орловского монастыря, и другая племянница, из Шамордина, ходившая за о. Амвросием в его предсмертной болезни.

Отпевали Константина Николаевича молодые монахи и священники, молодежь из любимого им сословия «меча и сохи», вступившая в ряды борцов воинствующей на земле и тяжко обуреваемой Церкви.

Был морозный, светлый, радостный день, когда его гроб везли на довольно простых санях к могиле на кладбище близ нового собора над пещерою, где стоит чудотворная Черниговская икона Богоматери.

Вскоре я получил письмо от Евгении Тур (графиня Салиас), с которою я переписывался и которая знала Леонтьева чуть ли не студентом. Она писала:

«Вот и Леонтьева уже нет. Это потеря. Был добрый человек, христианин. И сумел дойти до смирения. А это великая вещь...»

. . . . . .

XIII

Что же встретил он там?

Увидел ли своих учителей, утишивших его бурную жизнь и приведших его ко Христу старцев Иеронима и Макария Афонских, и Амвросия?

Глядя иногда на подаренную им карточку, на которой он своим своеобразным, совершенно особенным, тонким, нервным почерком написал свое имя, видя пред собой его тоскующие глаза, с вопросом смотрящие на жизнь, я спрашиваю себя: «Постиг ли он там ясно судьбы своей России? Успокоился и насытился ли вполне его тревожный ум? Открылась ли ему там вся полнота истины? Мыслит ли он там согласнее, чем здесь с такими людьми, как недавно ушедший туда же Вл. С. Соловьев, с которым его связывало взаимное уважение, но с которым он расходился мыслями?..»

. . . . . .

А здесь, на земле, в России, его писания, быть может случайно, попав в руки, производят глубочайшее впечатление на чьюнибудь в невидном уголке России развивающуюся душу, подготовляя родине крепкого работника.

А что сталось с теми, кого убеждал он и устно, которых учил быть всегда и всюду русскими?

Немного было ее, этой молодежи, на которую Константин Николаевич оказал свою долю влияния.

Она разбросана по разным концам России, не сохраняя общения между собой, не имея возможности вместе вспоминать о человеке, так горячо желавшем ей добра, так искренне учившем ее чтить свой родной народ и все, что этот народ выработал за свой страдный век.

Но много ли, мало ли работает она для русского дела, едва ли отойдет кто-нибудь из нее от того знамени, вокруг которого собирал ее почивший и на котором написано: «Православная Церковь».

Да, во всех скитаниях, искушениях, при всей неполноте служения светлым идеалам, все же маяком их душ служит одна святыня, поддерживающая их жизнь.

Измучит ли жалкое зрелище людской ограниченности и ничтожества, обледенит ли холодность людская — в каком приветном, отрадном свете поднимутся греющие, давно ушедшие люди любви и правды, всегда живые, готовые откликнуться, те, которых зовут святыми Церкви.

Когда не хватает более сил, опускаются руки и уныние клещами захватит душу, какою свежестью дохнет на нее при мысли, что есть всегда доступные таинства Церкви и в них возрождающая Христова благодать.

Станет ли невыносимо от всей грязи, однообразия, пошлости жизни и захочется красоты — вечной, живой красоты: какое

обаяние ее повеет от праздничного торжественного богослужения в древних соборах, где столько поколений, измученных большими, чем мы, скорбями, находили под те же тихие напевы небесных слов, пред теми же заветными символами и отдых от горя, и отклик на те глубокие внутренние запросы, что утолены будут вполне лишь среди иного мира...

И стоит так над жизнью, связывая седую древность с жизнью грядущих поколений, великая, неизменная, непоколебимая святыня — наша Православная Церковь, чудная утешительница, создавшая Русский народ со всем его нравственным богатством.

И как же не поминать с горячею благодарностью такого человека, который сам, путем скорбных исканий, найдя это сокровище, старался открыть его всякому, с кем сводила его жизнь!..

Пусть же будет за то благословенно имя этого человека, которого мы звали здесь Константин Николаевич Леонтьев и который среди великой паствы старца Амвросия предстанет на суд Божий в рядах Оптинской братии — иноком Климентом.

Царское Село, 6 ноября 1900 г.